



Татьяна Успенская (Ошанина)

ХРИСТИНА
и её сын ВОВКА



ТАТЬЯНА УСПЕНСКАЯ (ОШАНИНА)

**ХРИСТИНА
и её сын ВОВКА**

БОСТОН • 2024 • BOSTON

ТАТЬЯНА УСПЕНСКАЯ (ОШАНИНА)
ХРИСТИНА И ЁЕ СЫН ВОВКА. Роман
Публикуется в авторской редакции

TATIANA USPENSKAYA (OSHANINA)
CHRISTINA AND HER SON VOVKA. A Novel
Published in the Author's Edition

Copyright © 1978-2024 by Tatiana Uspenskaya (Oshanina)

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.

ISBN 978-1-960533487

Published by M•GRAPHICS | BOSTON, MA

 mgraphics.books@gmail.com

 www.mgraphics-books.com

Cover Design by Larisa Studinskaya © 2024

Book Design by M•GRAPHICS © 2024

Printed in the United States of America

*Посвящается памяти
Валентины-Христины Рожновой
и её сына Владимира Юшина*

*С глубокой благодарностью за помощь
моему другу, блестящему редактору,
замечательной актрисе и жертвенному человеку —
Татьяне Евгеньевне Кузнецовой*

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Часть первая</i>	11
<i>Часть вторая</i>	77
<i>Часть третья</i>	138
<i>Часть четвёртая</i>	176
<i>Часть пятая</i>	212
<i>Часть шестая</i>	267
<i>Часть седьмая</i>	314
<i>Часть восьмая</i>	333
<i>Часть девятая</i>	366
<i>Часть десятая</i>	391
<i>Часть одиннадцатая</i>	413

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Как создается человек? Уже существующая душа по велению Бога спускается на землю и поселяется в родившемся младенце, сразу оделённая судьбой? Или Бог вовсе не при чём, а человек создается из родителей и прадедов с прабабками, в себя вбирая пороки, болезни, таланты, грехи, муки их всех, в своём «я» сохраняя их генетический код и жизненный багаж, и сам он не знает, в какую минуту чья кровь подаст о себе весть? А может быть, судьба человека зависит только от него самого, и ни Бог, ни предки не при чём?! Просто тот, кто не сумел сам построить свою судьбу, обвиняет других во вторжении в неё?

Чьё назначение выполняет она, ничем не выдающаяся, наречённая при рождении Христиной, а после Октября семнадцатого года переделанная в Вальку?!

Её мать — Устинья, отец — Андрей Рожнов.

1

Бог ли дал Устинье красоту, природа ли, только всяк, увидев её, столбенел. Сперва дар речи терял — просто глазел. Попривыкнув, приставал с вопросами:

— Ты, Устинья, не свёклой щёки натираешь?

— Зубы у тебя, Устюша, настоящие али как? Эко, один к одному!

— Глазами-то погоди зыркать, прожжёшь! Где такие отпускают, по какой милости? Поделись.

Устинья весёлая была в девках. Траву косит, жнёт рожь, огород копает, окучивает картошку — всё со смешком. И тут насмешничает вроде, а отвечает чин по чину:

— Свёклой тру. Углядел как есть правду. Зубы у тебя заняла, волосы у русалки, глаза — у ведьмы.

С Андреем жили через дом. Бегали вместе в овраг ловить птенцов. Вместе с горы скатывались, а друг друга не замечали.

По шестнадцать им было, метали стога. Устинья затомилась. Она любила зарыться в готовый стог, утопить себя в колючие запахи. В тот вечер под красное закатное солнце уснула, зубами зажав сухой горьковатый василёк.

— Устюша! — придавило её жаром солнца. — Устюша! — Со сна не поймёт, что с ней. — Устюша! Уточка моя!

— Господи! — охнула. Руками, ногами оттолкнула от себя Андрея. Села в жарком стогу.

Потный, красный, он — над ней — в пожаре от солнца, падающего за далёкий лес.

— Смотри, могу зарод сдвинуть, — подошёл к соседнему стогу, наклонился, выставив тощий зад, сдвинул стог. — Уточка моя. — Руки висели тяжёлые по бокам. — Я не обижу тебя, будем венчаться. Устюша...

Она, прижаренная к стогу, сидела смотрела на Андрея.

Он увидел её. Она увидела его. И про себя охнула.

Краше всех был Андрей.

— Какое будет твоё слово? — спросил. Дурманом потело сено. — Работу справлю любую. Картузы умею делать, шапки. Сыта будешь.

Выплюнула василёк. Выплюнула горечь. Девки с парнями сидят на брёвнах, гармонь слушают, она ни разу не сидела. Хочется посидеть. Девки с парнями водят хоровод. Она не водила ни разу. Хочется поводить.

— Уточка! — повторял в беспамятстве Андрей.

Парни девок за руки берут, целуют, — сестра сказывала. Смотрела Устинья на Андрея, не знала, как встать, что сказать. Обсыпался солнечный свет на лес.

— Иди, — приказала. — Потом скажу.

Уходил медленно. Подхватил рубаху с земли, волочил. Уносил последний солнечный свет.

Запахом сена молодеда потом всегда.

Так и не посидела на брёвнышках, не поводила хороводы, из детей сразу попала в жёны, в чужую семью: мать с отцом, старший брат с женой, два брата меньших. Семья большая, изба маленькая: через людей шагай, коль захочешь ночью по нужде выйти. Им с Андреем отдали лучшую, родительскую, за занавеской, кровать. «Уточка!» — шептал ночью. А днём шил шапки, готовые носил купцу. Щедрый купец расплачивался водкой. Не надо в монопольку ходить за три версты! «Мужиком признал меня», — хвастался перед ней Андрей, плечи разворачивал. «Угощаю!» — отцу и братьям наливал каждый вечер. На пятерых расходилась бутылка.

Косо сыпал снег, облепил заборы, деревья, кусты, одел в белое. «Уточка! — шепчет, губами шарит по ней, всю исшарит, всю исщип-

лет, всю изгладит.—Устюша!» Шла чистая зима. В ту зиму Андрей весёлый был, гулять с ней ходил по улице, под руку вёл, гордился, что она идёт животом вперёд, всем показывал: будет ребёнок.

По воскресеньям с братьями рубили дом. Дом ставили Андрею. Родится ребёнок, люльку некуда привесить. Устинью к строительству не допускал: неровен час — оступится, неровен час — доска упадёт на неё. Избу справили к весне, перед самым севом. Изба пахла смолью. Спали на полу. На полу родился в июле мальчик. Лёня.

Светло жилось Устинье. Своя изба. Корову привёл Андрей. Курей купили. Огород стали сажать.

Смолью пахнет изба. Под Лёнино сопенье сладко любитя. Лучший картузник, Андрей не имел отбою от работы. Платили больше водкой. Не с братьями и отцом, теперь выпивал один всю бутылку. Пил, хвастался—какой он мастер, купец хвалит, а купцу его изделия народ хвалит. Пил, хвастался—всю Рассею обошьёт картузами.

А она что? Её дело—земля, скотина, дом. Её дело детей рожать. Она и рожала. Да после Лёни—одни девки пошли. И Андрей изменился к ней: губы стали мокрыми, руки—грубыми, болью мнёт грудь, кусает, а потом начинает выговаривать: «Зачем девок рожает? Мне девок не нужно. Парней рожай, работников. Одному поле передам, другому—ремесло, третьему—огород. Для четвёртого тоже дело найдётся». Девки шли дождём. Одна за другой. Паша да Маруся, Нюша да Дуся. И год от году всё больше пил Андрей, всё большее мял грудь, кровавее щипал, громче во хмелю кричал на неё.

Трезвый теперь был редко. Трезвый не кричал, обнимал по-прежнему, нежно, тихо жаловался:

—В нашем корню девки сроду не рожались. От тебя, Устька, по твоей вине, ты носишь их мне. Разорешь! Нету силов у меня на столько ртов. Девку кормить впустую. В чужую семью пойдёт. Да если бы задаром пошла, а то ещё приданое за неё дай! Пожалей меня, Устюша, рожай парней!

Попервоначалу плакала вместе с Андреем, оправдывалась: разве виноватая она, что девки? Гладила его опухшие щёки.

— Не пей, — просила. — Давай продадим овёс и картошку, выручим деньги, лошадь купим. Ты только не пей. Если будем водку продавать, сделаемся богатые. Пожалей, Андрюша. Девки, а всё твоя кровь!

Он шёл в сенцы за бутылкой и наливался. Снова бил её: кусал до крови, как злой зверь, болью припечатывал к перине.

Пил Андрей вместе с дядей Яшей. У дяди Яши причина была: единственный сын утонул, дома дядя Яша вовсе не мог находиться, всё по чужим избам ходил, а у Андрея—полон дом ребятни. Перед

дядей Яшей на колени падала. «Не пей с Андрюшей, — просила. — Пожалей детей. Работа стоит».

Дядя Яша — маленький, сухонький мужичонка, со слезящимися, по-собачьи тоскливыми глазами, когда трезвый, жалеет её, кивает аккуратной прилизанной головой: «Плохо дело. Негоже пить. Скажу Андрюхе. Не буду с ним пить! Но и ты не сплехуй: чтоб с другим он не выпил». А как выпьет первый стакан, обо всём позабывает, кричит тонким голосом: «Горит нутро. Давай, Андрюха, потушим!».

Андрей не водку пьёт, злобу, и только выпьет, злоба со слюнями вместе выплёскивается обратно на всех, кто окажется рядом: «Заели мой век! Прожоры! Дармоедки!». Девки разбегаются из-под Андреевых кулаков, сама Устинья слово поперёк сказать боится, лишь голову в плечи втягивает, когда Андрей обрушивает на неё свою злость. Только Лёню Андрей не трогает. Издали завидит, зовёт ласково:

— Подмогни, сынок! — Обхватит его за жидкие плечи, обвалится на него всем грузным телом, заплетаясь ногами, едва бредёт домой. — Ты понимать должен, сынок, почему пью. Стерва загубила меня, рожает одних девок. Без разума у тебя мать. — Про Устинью выговорит, начнёт виноватиться перед Лёней: — Сынок, не обижайся! Брошу проклятую. Самого жжёт. Не суди, сынок.

Виниться винится, а пьёт всё безнадежнее.

Особенно тяжёлый год случился одиннадцатый: голод. Дети лежали по лавкам, пухли с голоду. На траве да желудях сил не наберёшь. Андрей же пил без просыпу на голодный желудок. Совсем голову потерял. Тайком от Устиньи курей распродал и тряпки, какие добрые оставались от её приданного.

После этого года так и не поднялись. Правда, коровёнка ещё оставалась с белым лбом и белыми ногами — Рябушка-кормилица. Точно сердцем понимала Устиньину заботу, старалась — отдавала молоко щедро. Ещё лошадь была, да хворая, ходила медленно, как и все они, без сил — к весне нечем становилось её кормить. Еле передвигала ноги и Устинья, но детей надо накормить... хоть лепёшками из сухой травы.

Только Андрея не брали ни водка, ни голод, напьётся, носится в полной силе по деревне ли, по дому ли, дерёт глотку: «Вы все — грязь под ногами, я — свободный человек. Это как — всю-то жизнь в навозе копать?! Это как — никаких прав у меня нету?!».

Не понимает Устинья, на что сетует Андрей. Это она одну работу видит да голодных детей!

В четырнадцатом году объявили сухой закон, позакрывали монополюшки. Точно проснулась Устинья — бухнулась на колени перед Богоматерью, смотрящей на их жизнь из красного угла, принялась

благодарить за милость. Ждала Устинья добрых перемен. Неделю не пил Андрей, ходил косматый, натыкался на лавки, жаловался:

— Жжёт грудь, горит. Мочи нет. Худо мне, Устя.

Не пил, а помогать всё одно не помогал: ни воды в колодце набрать, ни землю вскопать.

На несколько дней нашёл забаву—принёс из Семёновского собачонку, назвал Розкой. Играл с ней, обед делил, разговаривал точно с человеком: «Ты, Розка, на меня смотри, не отворачивайся, я человек пропащий, но и мне, пропащему, нужно, чтобы на меня смотрели. Понимаешь? На-ко хлебца, пожуй».—Каждый день уходил с Розкой в Семёновское, к бывшей монополюшке. Возвращался чуть не ползком, находил дядю Яшу, жаловался: «Жизни нету. Горю».

Розка не помогла. Метался-метался Андрей, маялся-маялся да приспособился: стал пить денатурат. Это кум виноватый. Сам столяр хороший, работает с утра до ночи, хозяин справный, в рот спиртного не берёт, а людей, вишь, портит—своей рукой подносит Андрею денатурат-политуру. Раньше и слухом не слыхала Устинья про такое название—что ей за дело до столярных работ, а теперь досконально изучила и запах, и цвет его: синеватый, прозрачный, ядовитый, годится табуретки делать, а не для желудка. Молила Андрея не пить, прятала, выливала во двор. Не помогло. Поначалу хоть разбавлял, к концу лета цельный пил. Возненавидела Устинья своего кума, видела теперь в нём не родственника, а приземистого, красномордого врага: злой человек—не слушает её молений!

Август в тот, пятнадцатый, год выдался щедрый: уродились огурцы, яблоки, крупные груши.

А в Устиньином доме всё одно: урожай неурожай, щи всегда постные, хлеба—не досыта. В августе ещё хорошо. Рвут дети колосья ржи и пшеницы, едят зерна, немытую короткую морковь грызут. Устинья ловчила как могла: варила кисель из высевки. Высевку пробовала печь, как хлеб. Молола овёс, тоже пекла.

От голода ли, от слёз ли, что выплакала из-за Андрея, от обиды ли на злую жизнь, тяжело носила в тот год Устинья ребёнка—точно камень, ворочался он в утробе. Пухли, слабели ноги. Ломило поясницу.

Тот день с утра не задался: еле сползла с кровати. Пошла доить корову, ступила на порожек сарая и не смогла больше ни шагу сделать, опустилась на землю. До кормилицы своей, до надежи своей—Рябушки не добралась. Сидела, издалека смотрела, как Рябушка прихватывает сено мягкими губами, жуёт, как обиженно косится на неё и в нетерпении перебирает ногами. Рядом с Устиньей присела Розка—тощая, жалкая, трётся об Устиньин бок, заглядывает в гла-

за: дай поесть! Андрей позабыл о ней, не кормит. Что дашь? Детям нету.

Устинья отвела глаза от Розки.

Доить позвала Пашу. Паша — девка быстрая, руки проворные, в неё пошла. Хотя и тринадцать всего, а силы в Паше много, все повадки её, Устиньины, переняла: сосцы прихватывает ловко, взрослой хваткой, споро доит! Смотрела Устинья на Пашу, какая у неё крепкая, большая спина, какие толстые косы, гордилась — ладная получилась.

Ладная-то ладная Паша, а хворая — сызмальства шмыгает носом. К фельдшеру сводить бы, да чем заплатишь ему?!

В избе надрывно закричала четырёхлетняя Дуська.

Корову доить сил не хватило, а натужный Дусин крик поднял. Переваливаясь тяжёлым животом с ноги на ногу, всё-таки дошла до грядок. И здесь Дуську слышать. Всей собой надавила Устинья на лопату — та чуть вошла в сухую плотную землю. Повиснув на лопате, стояла — отдыхала.

Сколько же ещё так жить?! У людей хлеб свой, земля в огороде ухожена, ни голода, ни нищеты, только она с детьми вовсе проклятая.

Лёня очутился рядом, взял у неё из рук лопату, пробил тугую землю. С трудом опустилась на межу, стала под Дусин горький плач выбирать мелкую ещё картошку. Истощённая чёрствая земля расступалась неохотно, не хотела отдавать картошку, хотела дорастить. С недозрелой капустой, с ведёрком недозрелой картошки поплелась в дом.

— Только детей делать! — пожаловалась сыну.

Дуська, в светлом пухе волос, не мигая, мокрыми глазами смотрела, как Паша льёт ей из ведёрка молоко. Всеми десятью пальцами ухватила стакан, захлёбываясь, жадно выпила. Облизала губы, больно ткнулась в живот Устиньи.

— Есть хочу.

Паша, шмыгая носом, пошла из избы.

Дуська снова горько заплакала. Под её плач Устинья стала разжигать печку. На улице сухота, а здесь огонь тухнет, и на тебе! Дует Устинья изо всех сил, до красноты в глазах, щепки суёт — попусту, не горит огонь. Выпрямилась, повернулась к спящему Андрею, ко чергу подняла над головой.

— Ирод проклятый! — сказала глухо.

Лёня отобрал кочергу, легко расшуровал дрова, сложил аккуратно щепки, разжёл печку, сунул в неё горшок с похлёбкой.

Сварились всё-таки щи. Без хлеба, без мяса — пустые, лишь чуть забелённые молоком.

Началось в обед. Дети расселись за столом. Устинья и не смотрит на них, чего смотреть, и так знает—будут жадными ложками ловить гущу, будут жадно глотать, в одну минуту ничего не останется, а голод не уйдёт.

Андрей услышал запах щей, чавканье ребячье, слез с лавки, пошёл в сени. Вернулся с бутылкой, торопясь, вытащил пробку, уселся за стол. Нечёсанный, с голой грудью.

Устинья разливает чай. Самовар фыркает, кипяток штопором вкручивается в стакан. Устинья торопится: с утра во рту ни крошки не было, ребёнок сосёт её, как червяк.

Чай пить она любит—обманывает голод.

Наконец уселась, налила в блюдце, поднесла ко рту и тут только увидела Андрея: закинув голову, выставив острый кадык, жадно глотает.

—А ну, положи, —приказала она, держа у рта дымящееся блюдце. Андрей даже головы не повернул в её сторону. Денатурат булькал, переливался из бутылки в него. В другой раз пронесло бы, а тут язык опередил терпение: —Разори-ил детей! —выдохнула. Накренилось блюдце, на стол тяжело полился кипяток, растёкся лужей. Поставила блюдце в лужу. —У всех хлеба вдосталь, до нового урожая хватает, картошки у всех до нового урожая хватает. Разори-ил! Детям в глаза посмотри. Хлеба хочут! —голосила она голодным брюхом.

Андрей перестал пить, утёр губы, рявкнул:

—Замолчи! —Принялся хлебать щи.

—Отец, что ли? —Устинья, как для прыжка, собралась: сейчас вцепится в опухшую ненавистную физиономию. —Чужой пожалел бы детей! Наплодил, а голодом моришь.

—Замолчи! —взревел Андрей, швырнул в неё ложкой.

—Не отец. Ирод. Ирод.

Андрей вскочил. Борода включенная, глаза над оплывшими скулами мутные, грудь в серых кудрях. Схватил стакан с чаем, плеснул Устинье в лицо. Плюхнулся на лавку, снова, чавкая, стал есть. Из-под его носа Лёня стащил недопитую бутылку, побежал из избы.

Не сразу Устинья встала. Тяжело оседая на пятки, пошла из горницы. Вернулась с топором. Лицо уже вспухло розово-малиновыми неровными лепёшками, горело рваным огнём—медленно двигалась Устинья к Андрею. Затаившая ли дыхание тишина или инстинкт подсказали—в последнюю минуту вывернулся он из-под занесённого над ним топора, бросился на непослушных ногах прочь. Устинья рванулась за ним, ощущая лишь дикую боль в груди и в лице. И присела, прижав топор к груди, —начала рожать. Паша помчалась за людьми.

Сбежались бабки, долили самовар, снова разожгли, рвали тряпки — началась обычная в этих случаях суета.

Но Устинья ничего больше не видела и не слышала: она — в пожаре, горит лицо, горит, разрывается нутро. Занавеска, отгородившая её от избы, словно совсем лишила её воздуха — широко разевает Устинья рот, пытается дышать, а вместо воздуха — пламя, задыхается она в огне.

Так родилась она, Валентина-Христина, — в огне, в избе с голодными ребятишками, с пустыми, остывшими материнскими щами, с мерзким запахом денатурата. Из Андрея-Устиньи, из незнамо каких предков явилась жить новая жизнь.

Едва забрезжил августовский рассвет, прервалось недолгое горячее забытьё. Очнулась Устинья от осторожного шороха. Крадучись, подобрался Андрей к корзине с ребёнком, придвинутой к их кровати. Спокойно спали по лавкам и сенникам дети, спокойно тёк к ней из окон блёклый свет. На крик, на вчерашнюю ненависть сил не было — как лежала навзничь, прикованная затылком к подушке, так и лежала, из-под вспухших век равнодушно следила за Андреем. Дрожащими руками размотал он тряпки, развёл ножки ребёнка.

— Баба! Пятая баба! Погоди, стерва. Ответишь за эту девку! — шарахнулся в сени, натянул сапоги, скорым, скрипучим шагом пошёл из избы.

Приподнявшись, смотрели ему вслед дети.

Заплакала Дуська. Эхом откликнулась новорождённая, закрипела неуверенным плачем. Точно под сердце толкнул этот разноголосый хор, Устинья встала. Постояла, привалившись к кровати. Кружилась голова, тянуло снова лечь. Потрогала саднящие лепёшки ожогов. Напьётся, убьёт, — поняла. Равнодушие к себе толкало улечься, ждать, когда наконец убьёт: пусть всех, разом, порешит, а какая-то, не понятная ей сила заставила натянуть юбку, повязаться, замотать в тряпки синюшную сморщенную девчонку, прижать к себе и на непослушных ногах медленно идти к двери, из избы, на волю, в сине-розовый рассвет августа, уже душный. Едва доковыляла до ближнего проулка. А увидев распахнувшуюся из проулка пёструю, цветную, просторную землю, обрела силы, пошла.

— Мамка, ты куда? — догнал Лёня, пошёл рядом, косил на неё просыпающимся глазом.

Не ответила. Едва брела.

Земля тянула к себе — повалиться, лежать в покое. Но также силком тянула к себе золотистая церковь Салькова — казалось Устинье, видит она её: от куполов разлетается свет.

Овсы золотились спелостью. Почти ей в рост густые колосья пахлипряно и сладко. Лёня шуршал ими сзади. Но вот обогнал её на

узкой тропе. И, едва успел подхватить девчонку, когда Устинья валилась в овсы. Чёрная пелена потушила день, губы спеклись, раздулись. Сквозь сжатые зубы Лёня втиснул горячие зерна. Машинально стала жевать. Жёсткие зёрна кололись, сил выплюнуть их не было, так и лежали во рту.

Чернота просеялась светом, расплывающееся Лёнино лицо склонилось над ней, уши мучил скрипучий плач ребёнка.

— Может, покормишь, а? — Устинья не смогла даже моргнуть, тяжёлые веки застыли. — Mamka, ты живая? — Голос сына, наконец, достиг её: по вспухшему, саднящему лицу поползли обжигая слёзы. Палило солнце. — Пойдём, мамка. Догонит батя, убьёт. — Лёня взял на руки девчонку, стал укачивать. — Замолчи, ну, замолчи. — И снова склонился к матери. — Пойдём, а? Я боюсь, мамка. Вставай, мамка.

Наконец Устинья закрыла глаза, успокаивая резь в них.

Солнце — горячее, словно не утреннее.

Всё-таки встала, пошла за сыном: шаг, ещё шаг.

Тринадцать вёрст обернулись тридцатью. Издалека розово светилась церковь. Ближе, ближе.

Чем труднее давался каждый шаг, тем больше скапливалось в ней жара, обхватившего и лицо, и грудь, тем слабее становилась она. Вот наконец... Устинья рухнула перед церковью на колени, стукнулась лбом о ступени. Рядом орала девчонка.

Лёня привёл батюшку.

— Что ты? Не у места встала. Пойдём ближе к Богу. Успели бы окрестить. Чего поспешила?

Устинья сорвала с головы платок, промокнула лицо.

— Почему оставил меня Бог? Говори! — крикнула, а получилось, едва пошевелила непослушными губами. — Почему не избавит меня от мучителя? Дома не вымолила я ему смерти. Ослобоняй меня!

— Ты что? Ты что? — Батюшка замахал на неё руками. — Какие слова говоришь у Божьего храма?!

Тяжело поднялась на ноги, вырвала у Лёни девчонку, размотала, отбросила ветхие тряпки, протянула батюшке.

— И эта постылая мне не нужна! Нужна тебе? Бери. У тебя с дитями плохо. Мне такая не нужна, кости одни! — Расстегнула кофту, вытянула тощую грудь, сунула в кричащий рот острый коричневый сосок. Девчонка схватила было, дёрнула да бросила, поняв обман, захлебнулась в новом крике. — Видал? Высохла. Нету молока. Хошь, сам корми. Моих сил боле нету! — Сыростью тянуло из церкви. — Овёс пропил, окаянный, до копеечки. — Устинья словно всю себя выкричала, теперь говорила равнодушно: — Покончу всё разом!

Батюшка велел Лёне замотать девчонку, обнял Устинью, повёл от церкви. Август догорал яркими красками. На взгорке стояла оранжевая рябина. Под неё усадил батюшка Устинью.

— Ты всегда считалась самой тихой из моих прихожан, Устюша, — сказал ласково. — Сраму наговорила зря. Богу навязываешь не Богово. Бог, может, эту дочь послал тебе специально в утешение. Именно она, младшенькая, и глаза тебе закроет, когда Господь призовет тебя. А муж твой — твой крест, тебе нести его до последнего часа. У каждого есть свой крест. Ты, Устинья, сына постесняйся, скоро жених. Тебе четырнадцать, Лёня? Вот видишь, помощник. Паше твоей, кажись, тринадцать? Не держи долго, выдавай замуж, в богатую семью. А там другие подымутся. Вот и полегчает.

Устинья кусала край платка, слушала. Лёня мотал рябиновой гроздью перед сестрой, успокаивал. А девчонка всё плакала, надсадно, жалобно, рождая в Устинье злое беспокойство. Небо синело без облачка, сколько хватало глазу.

— Молоко к тебе придёт, — ласкал голосом батюшка. — Вчера родила, сегодня к вечеру будет. А тебе лежать надобно. — Противиться его голосу не могла, смотрела на батюшку, на его рыжую, с сединой, курчавую, длинную, до живота, бороду, слушала — от батюшки шёл к ней сон, покой. — Ты вот что, идём ко мне, — баюкал батюшка. — До вечера отлежишься, потом мы твою красавицу окрестим, и ты по холодку пойдёшь домой. Как назвать хочешь? Давай Христиной.

— Христина, — расслабленно, едва шевеля опухшими губами, повторила Устинья, и вдруг Видение: Свет с неба к ней опускается. Совсем обессилела она. Едва дошла до батюшкиного дома, повалилась спать.

В полдень прибежала Паша. Грязные разводы от слёз, запыхалась, не сразу смогла выговорить:

— Не ходи домой, мамка, батька топором рубит всё наподряд. Я девок свела к тёте Марфе с дядей Митрием.

Не сразу Андрей за топор взялся. Сперва, пока Устинья лежала у батюшки да ела батюшкин хлеб, метался по деревне, искал выпить. У дяди Яши, у других соседей не оказалось, пошagal в Семёновское, к куму. Кум теперь стал большим человеком — самогон варит. На Андрея кум был зол — в пьяном дурмане зарубил Андрей его поросёнка! Но виду кум не подал, что зло таит, усадил Андрея за стол, поднёс чин по чину как полагается первый стакан чистой самогонки. А когда Андрей захмелел, ехидненько заявил:

— Нету больше.

— Есть! — закричал Андрей, озверев от кумова ехидства. Кум даже не пошевелился, лишь ещё больше налился краснотой. Сидел

развалясь, пил утренний чай. — Дай, кому говорю! — Андрей вскочил, застучал по столу. А потом обе руки прижал к груди. — Жмёт, слышь? Ты кум мне али не кум?

— Я тебе кум, да ты мне не кум.

— Это как? — остолбенел Андрей.

— А так. Поросёнок, если его вовремя рубить, сколько мне барышу дал бы?!

Андрей понял.

— Барышу? Да я... да ты... Я сейчас...

И он пошagal в своё Нестерцево. Не прошло и часа, как вернулся, швырнул в ноги куму полушубок и сапоги.

— Вот тебе барыш! За того поросёнка. Ставь!

К этому времени кум был уже не один, в избе сидел ещё мужик. Незнакомый. Такой толстый, что живот его лежал на коленях, как мешок, туго набитый пшеницей. Андрей на него внимания не обращал. Пил самогон, поданный ему кумом. Сил почему-то не было, злорада заглохла, текли пьяные слёзы.

— Что такое девка? — печалился он. — Убыток. Сколько лет корми, одевай, да ещё приданое дай! А если их пять?! Люби не люби свою плоть, а всё одно в чужой семье она станет работницей. Какой прок от девок?! Это Устька нарочно подставляет мне каверзу. За то, что я — такой... — он хлопнул себя в грудь кулаком.

— Любишь водочку да самогоночку, денатурат да политуру? — неожиданно прервал его толстый мужик. Андрей уставился на него, не понимая, кто это и чего ему надо. — А корова у тебя есть? — Андрей кивнул косматой головой. — Ага. Вот коли водочку любишь, веди мне корову. За неё я тебе... бочку настоящей водки куплю и денег дам.

Попробовал кум вступить за корову:

— Не в себе человек, чего детей голодными оставляешь?!

Но мужик даже не взглянул на него.

— Ведёшь или нет? Мне сильно корова нужна, чтоб, значит, молочная. А выпьешь бочку зараз, а?

Разжёл мужик Андрея.

— Выпью! — крикнул. И снова пошagal домой. Но теперь путь до Нестерцева он проделал гораздо медленнее.

— Иди! — гнал он корову с выпаса. — А ну, иди!

Корова не шла. Зато прыгала вокруг Розка, радовалась ему, путалась под ногами. Он поволол Рябушку за верёвку.

— Ну, Устька! Голой тебя оставлю. Всю свою жизнь по ветру пушу! Продаю! С глаз долой! Прочь с глаз!

Рябушка мычала, упиралась, сопротивлялась, словно чувствовала — навсегда из дома уведят, шла медленно.

Бешенство сотрясало Андрея—нутро горит, а эта тварь норов выказывает! Семь потов сошло с него, пока он втащил Рябушку на гору Семёновского.

Мужик не обманул. Водку поставил. Не стакан, а разом целый кувшин. И принялся разжигать Андрея:

— Бабы—язвы, предел мужику ставят! Извести надо баб.

Жадно, сожмурив глаза,пил Андрей и, чем больше пил, тем меньше слушал кума, который гнал его домой, чёрными словами честил мужика-купца, тем горячее становилась злоба к Устинье. Убить, вот что! Чтоб не плодила девок. Такой вывод получался из подначек мужика.

Позабыв о корове и деньгах, которые обещал ему мужик, Андрей кинулся домой с одним-единственным желанием—порешить Устинью, сгубившую его жизнь. За ним, подняв хвост, весело бежала Розка. Обгоняла, прыгала на него. Он отшвыривал её ногой и стремился к селу. Зажав в руке топор, кинулся в соседнюю избу—там спрятали Устьку?! Увидев его, соседи заперли дверь, захлопнули окна. Даже дядя Яша, умевший ублажать его, тоже задвинул засов—не раз он был бит пьяным Андреем. Андрей грозил соседям, что порубит двери. Лишь клятвенные заверения, что Устиньи у них нет, гнали его к следующей избе. Как ветром сдуло с улицы людей. С громким плачем попрятались в дома дети. Даже куры разбежались. Только его собачонка Розка не спряталась, по-прежнему мешалась под ногами, забегала вперёд, умильно в глаза заглядывала, подскакивала, норовила лизнуть, лапами передними цеплялась за него. Терпел её Андрей, терпел и рубанул топором. Осталась Розка лежать пригвождённая к земле, с открытым ласковым глазом—истекала кровью.

Не найдя Устиньи, вернулся домой. Метался по избе, выл от злобы, не знал, как ему добыть постылую жену. Рубил всё, что попадалось под руку. Когда посыпались во все стороны щепки от стены, бросил топор с запёкшейся Розкиной кровью на пол, метнулся к божнице, словно собрался к Богу воззвать, но никаких слов к Богу не нашлось. Внезапно темнотой заволокло избу. Таращил глаза, поднимал веки пальцами, но ничего не видел. И вдруг вспыхнул огонь, заскакали черти и чудовища. Стал биться головой о стенку, чтобы отогнать их, тянущих его в пропасть. Виском ли ткнулся неловко, или белая горячка его сожгла, только рухнул он мёртвый под божницу.

Смотрела с иконы Богоматерь на светлые, в солнечных зайчиках, стены избы, на широкий, длинный стол, за которым умещалось десять человек, на кровать у стены с горой подушек, оставшихся от матери Устиньи, великой рукодельницы, на лавки, горячие от солнца, которое так и лезло в избу, на жёлтые весёлые половицы пола и на распластавшегося на нём широкоплечего, светловолосого Андрея.

Не торопясь, шла домой Устинья по знойному дню, по голубой травке мимо берёз и лип, снова по овсу, по полю и овражкам — тринадцать вёрст. Не торопясь, ходила по избам, собирала дочерей, с сухими глазами выслушивала рассказы соседей, как уводил Андрей её Рябушку. Жалостливое сочувствие соседей, что мужик ей достался горький, непутёвый, не трогало её, она холодно готовилась к встрече с мужем — рука не дрогнет. Хоть спящего, а порешит его. Им двоим не жить. Долго стояла над Розкой, у которой уже не было в глазах никакого выражения, только мутная плёнка. Шагнула бесстрашно в избу, окружённая детьми и безразличная к своей жизни и смерти. Прошла нагретые сени. В горнице раскиданы миски, ложки, наполовину побиты стаканы, чугуны с остатками щей так и стоят неубранный, немывтый, с застывшим по краю ободком молока. Под божницей увидела мужа. Он смотрел в потолок чистыми небесными глазами — такими смотрел на неё, когда звал в церковь венчаться. Потрогала, чтобы удостовериться: мёртвый! Выпрямилась, глубоко вздохнула, перекрестилась с облегчением. Закрыла мужу глаза. Подняла топор, протянула Лёне — велела отмыть от Розкиной крови, положить на место, а ещё велела позвать соседей и вместе с Пашей принялась убираться. К тому времени, когда собрались в дом старики, всё легло по своим местам.

Жалобно плачет голодная Христина. Старики, важные, сидят на лавке в ряд, вполголоса, не торопясь, обсуждают Андрееву смерть: лучшего картузника до самого Рогачёва не найти, Устинье теперь придётся лихо, без коровы да с грудной на руках, и Христина родилась горе мыкать. Старики утирают пот со лбов — август не даёт дышать, выжимает из всех влагу. Дядя Яша — в центре между стариками. У него нос — красная картошка между белыми, в синих жилах щёками. Бабы убирают покойника. Девчонки жмутся к Паше, расширенными Андреевыми глазами смотрят на тихого отца, лежащего на столе, на баб, обряжающих его, на строгих стариков.

Прощаясь с днём, солнце золотистыми лучами простреливает избу. Идёт подготовка к похоронам. Лёня разделявает овцу, подаренную соседями. Одна Устинья ничего не делает. Сидит, скрестив руки на груди, тихая, благостная, безучастная к чужой суете и улыбается.

2

В семнадцатом году скинули царя.

Позже отменили Бога, и она, рождённая Христиной, стала Валькой.

Первое, что запомнила сама: большой стол, краюха посередине, вокруг сёстры и Лёня с женой Верой, мать нарекает равные акку-

ратные ломти. Валька первая хватает, пытается запихнуть целиком в рот, а ломоть не запихивается. Откусывает сколько может, не жуя, глотает — хлеб застревает в горле. Перехватывает дыхание. Пытается вытащить, давится ещё больше.

— Мам, Валька помирает, — смеётся Дуська.

— Как есть помирает, — испуганно шмыгает носом Паша.

Около Вальки оказывается мать. Вытягивает у неё изо рта хлеб. Валька сразу начинает дышать. Дышит с радостью, вольно и не видит, что мать идёт в сенцы, возвращается с веником, выдёргивает прутья. Не успевает Валька отдышаться, как мать стаскивает её с лавки, задирает подол и начинает хлестать.

— Не жадничай, не хватай много, — спокойно приговаривает мать. — Ешь по крошечке, постылая!

Валька вырывается, а вырваться не может, вьётся под материнскими руками, норовит закрыть руками зад и спину, но тогда загораются руки.

— Ты что, мать, делаешь? Брось сейчас же! — Лёня выдёргивает у матери прутья, откидывает, подхватывает Вальку, сажает на лавку. — Ешь, Валя, досыта. — А матери выговаривает: — Не видела досыта. Понимать должна.

Валька не ревёт. Слезает с лавки, идёт в угол, где на полу — её сенник, ложится на живот. Она не любит мать, не хочет её хлеба, она любит только Лёню. От всех бед спасает Лёня! И сейчас продолжает выговаривать матери:

— С детства голодная. Хочет есть. Жалеть её надо.

Мать молчит, молчит и вдруг начинает кричать:

— Ты мне будешь указывать? Кого в дом привёл? От твоей цацы много помощи? Хоть раз вышла в поле, в огород? С собственным дитём и то не повозится, гляди-ко, земли наелся, весь в грязи перемазался. Мои девки Костю нянчат! А твоя барыня всё лежит, хворую из себя ломает. Жрать, небось, первая садится, а печку истопить, наносить воды, сготовить — нету её! Эко, учишь мать! Ты накорми эту бабью свору, тогда учи! Жалельки-то свои я в поле да в огороде порастеряла. Эко, распоряжается. Ты вон свою барыню поучи!

Вера кинула ложку, кинулась из избы. Лёня — за ней.

А через несколько дней с криком «Землю дают!» вся деревня бежала в поле.

Делить землю приехал уполномоченный. Был он круглый и до самого неба — такого Валька сроду не видела. Важный.

Валька привыкла, что люди идут по полю вразброд, а сейчас столпились в одном месте, окружили дядьку. Даже старые-престарые баба Марфа с дедом Митрием доковыляли. Не слушала, о чём шуме-

ли люди, занята была — дивилась необычному и висла на Лёниной руке — боялась затеряться.

Лёня не похож на себя. По всему лбу пот выступил, свекольными стали щёки, порывался что-то сказать дядьке, но все сильно кричали, и Лёня не мог влезть в этот крик.

Дядька махал руками, кричал громче всех и вдруг замолчал, длинной рукой с треугольником раздвинул людей, пошёл по полю. Наступила тишина. Размахивая треугольником, дядька крупными шагами проскочил в одну сторону, в другую, вернулся к людям, отбросил треугольник.

— Начнём резать землю, — сказал важно. И вбил первый клин. И сразу следующий.

Лёня вырвался из Валькиных рук, двинулся за уполномоченным. И все двинулись. Даже бабка Марфа с дедом Митрием ковыляли следом, а останавливаясь, тяжело отдыхались.

Каждому — своя земля! — это Валька поняла.

Она скакала за Лёней, обгоняла его, цеплялась.

Вдруг Лёня закричал:

— Эт-то как не полагается? Что, она не человек? Ты её спроси, хочет она кушать или не хочет? А ну, Валька, объясни дяде, сколь ты хлебушек любишь! Как это ей землю не нарезать? Кому тогда нарезать, как не детям?

— Чего разорешься? — рассердился уполномоченный. Круглое лицо его задрожало всеми оспинами. — Ты ж не отец ей. Тебе что?

— Как не отец?! А кто я тогда? — с кулаками полез Лёня на дядьку. — Может, ты ей отец? Может, ты её поднимаешь, от своего куска ей отламываешь? Скажи!

Дядька попятился от Лёни, заморгал часто мелкими глазками. «Мышь, — засмеялась Валька. — Такой большой, а Лёню запугался! Мышь и есть». Вслух Валька сказать такое побоялась, только снова ухватила Лёню за руку.

Ещё помнит она чужую избу. Лежит на лавке дядя Яша. Совсем жёлтый, высохший. Глядит в потолок стеклянными глазами. Но вот кто-то поспешно закрывает ему глаза.

— Ещё один мужик помер, — слышит Валька.

— Стар. Пожил своё.

— Стар не стар, а всё жалко.

Ещё помнит: они с матерью в церкви. Мать в чёрном, чёрный платок надвинут на самые глаза.

Валька в церкви впервые. Со стен, с потолка на неё смотрят чудные, с крыльями люди. Под самым куполом летает, мечется

и кричит птица. Кто она? Не воробей, не грач, не сорока. Ещё хочет углядеть Вальку, почему в церкви так много света, откуда он? В избе каганец освещает один угол, в остальных темно. Только когда на улице солнце, видно всё. Сегодня серый день. Значит, солнце спряталось в церкви? Так ярко горит! Где оно? Валька крутит головой. Она очень занята и не сразу слышит слова, которые говорит мать:

— Господь-батюшка, от мучителя Ты освободил меня, спасибо! Теперь пошли хлеба и картошки и возьми, кормилец, к Себе рабу твою Валентину.— Услышав своё имя, Валька перестаёт искать солнце, поворачивается к матери, открыв рот, слушает: — Освободи меня от постылой.

— Куда ты хочешь, чтобы Господь взял меня? — любопытствует она. Ей очень нравится, что мать связала её с Господом. У Него, мама говорила, хорошо, там всегда солнышко, птички поют. — У батюшки Господа много хлебушка, да? — спрашивает Валька. — А где Он живёт?

Мать не слышит её.

— Пошли, Господи, хлеба и картошки. Возьми, Господи, к кормильцу рабу твою Валентину! — повторяет испуганно.

Валька начинает тормошить мать.

— Куда ты хочешь отдать меня?

— Не слышишь разве, к Богу! — Ей отвечает не мать, а девчонка лет двенадцати и охотно объясняет: — Она хочет, чтобы ты померла поскорее, потому тебя кормить нечем. У вас шибко бедная семья, самая бедная из трёх деревень. Ты умрёшь, им станет легче.

Валька пугается.

— Мам, — дёргает она мать за чёрный платок. — Я не хочу лежать на лавке, как дядя Яша, я хочу бегать, хочу спать на сеннике. Я хочу к Лёне. Mamka, перестань! — У матери по коричневым щёкам текут слёзы. Валька пальцем стирает их. — Пусть я живу, мам! Я буду мало кушать!

Не успевают они с матерью в избу войти, как Дуська стаскивает с неё валенки и уносится на горку, а Вальке ничего не остаётся, как сунуть ноги в Дуськины большие калоши. Слепая от обиды, она бежит в другой конец деревни, ей нужен последний, девятый дом, там сейчас Лёня со своей женой Верой и сыном Костей в гостях угощаются. Дуська всегда всё знает, ей сорока на хвосте носит новости. Калоши спадают, но Валька снова влезает в них, снова бежит.

— Лёня! — врывается она в чужой дом, забирается к нему на колени, обхватывает за шею, жарко шепчет в ухо: — Скажи мамке, чтобы она не отдавала меня Богу, мамка хочет, чтобы я померла, Лёня! Лёня, слышишь?

Больше всего на свете она любит бежать. Целую зиму ждёт, когда сойдёт снег. А как только солнце наделает проталин, скорее на

улицу! Теперь ей не нужны Дуськины калоши с валенками — задрав голову, несётся она по рыжим проталинам босиком. Снег сначала жжёт подошвы, потом сводит ноги, потом снова жжёт.

В деревне она самая младшая из девчонок, играть ей не с кем, вот и развлекает сама себя. Летит по их главной улице, мимо второго дома, мимо девятого, последнего — до оврага, мчится по голой его кромочке, зимой с этой горбушки на салазках она скатывалась вниз, а сейчас внизу страшно: там глубокий снег, почернел весь, там ещё зима! Развернётся Валька, и скорее — домой, на печку. Укутает ноги овчиной, обогреет, снова из избы на волю! Щекочет лицо солнце, легко дышать. Вылетает она на луг. Луг у них на взгорке, сухой. Везде снег, а здесь почти нету. Скоро выпустят сюда коз, чтоб они ели сочную траву, душицу, клевер и васильки. Сейчас Валька на нём одна — беги в одну сторону, в другую, куда хочешь. Пройдёт совсем немного времени, зазеленеет их Нестерцево: и опушки леса, полукруглыми проплешинами окружившие деревню, и даже низ оврага — в него можно будет тогда скатываться или сбегать, так что дух захватывает.

Вальке пять, шесть, семь лет, и ничего нет для неё слаще, чем бежать.

Нравится ей кур пугать. Бросится за чужой курицей, будто схватить хочет, и точно ждала её, вылезает баба Марфа с подоткнутой юбкой.

— Ты что хулюганишь? Уймись, Валька, кур распугала, оглашённая!

Старая бабка, а ругается. Валька от бабы Марфы — бежать. А тут, как назло, соседский мальчишка Миша выскакивает. Подставил ей подножку, она и упала.

Одно у Вальки средство от всех бед — реветь. Заревёт и бежит скорее искать Лёню. Найдёт его в поле или в огороде, повиснет на шее, жалуется:

— Лёня, меня обидели.

У Лёни тоже средство для утешения одно: пригладит её лёгкие волосы, между лопатками ладонью проведёт, скажет:

— Реветь, Валька, не след. Ты сдачи давай! Тогда никто тебя не тронет.

Словно за этим только и бежит каждый раз Валька к Лёне — услышать разрешение. Назад — к Мише! Налетит со всего маха на него, толкнёт. Он и не ждал такого — свалится в грязь. «Не обижай меня, вот!» — кинет в него Валька словом. К бабке Марфе тоже Валька вбежит во двор, закричит: «Хочу бегу, вот! Пусть куры сами берегутся, вот!». И снова ищет Лёню: чтобы похвастаться, как она за себя постояла.

Только забывчива Валька, на другой день уже не помнит, чему учил её Лёня, и опять, если обидит кто, бежит к нему жаловаться.

Подошвами знает Валька горячую колючую землю поля, на котором серпами жнут хлеб мама, Лёня и сёстры. Даже Дуська умеет уже серп держать. Валька тоже работает, подбирает колоски, складывает в подол. Поначалу, в первый час, нравится. И она старается: чисто подбирает, как мамка велит. Но солнце хочет сжечь её, и скоро сил нет наклониться! Прижав подол с колосьями к животу, плетётся с поля прочь. Едва добредает до дерева, валится в траву. А проснётся и удивится: солнце всё там же, над головой, всё так же палит, мама с Лёней и сёстрами всё так же идут по полю! Испугается, что сейчас её надерут, скорее обратно.

Так и запомнилось поле на всю жизнь — жёлтое, с круглым жгущим солнцем над головой, беспредельное.

Запомнила, как Пашу выдавали замуж.

Не гуляла Паша с женихом. Пять раз приходили сваты, уговаривали её идти за Колю, расхваливали: добрый, работающий, дом у него богатый. Сказывали, никого другого, кроме Паши, ему не надо — как увидел её в церкви, забыть не может. Уговаривали, уговаривали — уговорили.

Косу ей расплетали — Паша плакала: не хотела за Колю!

В церкви первый раз увидела жениха: росточком даже поменьше Паши, а глаз с неё не сводит. Паша от жениха отворачивается, губы кусает.

Пашу вокруг аналоя водили.

Очень нравится Вальке батюшка. До пояса рыжая борода. Говорит тягуче, словно поёт. Слов Валька не слышит, рвётся побежать к Паше, а мать крепко держит её за руку.

Запомнила жеребцов. В их деревне таких не бывало. Жениховы жеребцы — огненные. Морды не разглядишь, как ни задирает Валька голову, пляшут жеребцы! Колокольцы гремят на всё Сальково. Ленты развеваются. Красота.

Купола блестят, золотятся на деревьях не опавшие листья — солнце пропитало Покров день, день Пашиной свадьбы.

От церкви до тарантаса разостлали холсты: по ним идут молодые, чтобы жизнь прожить богатую.

Сбоку от Паши прытко семенит Сидоровна, Колина мать, припевает:

— Доченька, красавица моя, разлюбезная моя, живите до ста лет вместе, храни вас Бог!

Из церкви поехали в дом жениха. Паша взяла Вальку к себе в тарантас. Всю дорогу Валька стояла, прижавшись к Паше. А жених держал Пашу за руку, смотрел на неё— чуть глаза ни вылазили, повторял одно и то же: «Спасибо тебе!».

Сильно понравился Вальке дом: горница— просторная, сени— широкие. И живности много на дворе: две коровы, тёлка, кобыла, жеребцы, да овец не сосчитать. Ещё куры. Ещё поросята.

В первый день свадьбы много ели, все, кроме жениха с невестой. Сидоровна не присела.

— Ешьте, добрые люди, досыта! Рады мы сильно, добрую невесту взяли.

У Сидоровны лицо круглое, гладкое, блестит.

Паша застекленела глазами, жениха в упор не видит.

Зато Валька его как есть всего рассмотрела: тыквой голова, короткие волосы, щипаные белые брови, клинышек бороды. Но мамка говорит— терпеть надо, потому что жених— богатый. Что такое «терпеть», Валька знает. Есть хочешь, терпи. Солнце жжёт, терпи. А чего тут терпеть?! Если в глаза к Коле заглянешь, сразу позабудешь про тыкву и про брови. Вот Валька и старалась, минуя брови, в глаза ему заглянуть.

Все принялись хвалить свадьбу: по всем правилам справляют— сытно!

— Выправляется жизнь,— громко сказала тощая незнакомая баба. — Вот как стали свадьбы справлять. Заживём скоро!

Валентину мать наставляла перед свадьбой: «Смотри, не позорь нас, не хватай что ни попадя со стола. Стыдно». Она и не хватает, стоит около Лёни, ждёт, когда он ей чего-нибудь даст. Первое, что Лёня даёт,— кусок хлеба, много больше, чем тот, что мать даёт им утром. И хлеб этот— белый. Валька сперва долго нюхает его, разглядывает на свет, крутит со всех сторон: корочка— коричневая, не пригорелая, пахнет сладко, а мякушка!.. нажми на неё, гармошкой сложится, отпусти— опять большой кусок. Совсем другой хлеб, чем чёрный: ноздреватый, пышный. Насмотрелась досыта и, наконец, откусывает маленький кусочек, сосёт его. Сладкий.

— Горько!— кричат кругом.

Валька удивлённо причмокивает: сладко же!

— За кума, за кума забыли, эх-ма!

— Навались на поросёнка, студень попробуй! Вкуснее не едал.

— Горько же, народ просит!— кричат вокруг. — А ну, Коля, покажи, что умеешь. Невеста не тронутая, дикая.

Валька занята хлебом и, только когда он сам собой, без остатка, проскальзывает в неё, вспоминает о женихе с невестой.

Они стоят друг против друга. У Паши глаза—стекляшки, рот словно скошен на сторону. А Коля облапил её, тянется к её рту. Паша откинула голову, отвернулась. Он обеими руками взял её лицо, впился в её губы губами.

— Дай передохнуть невесте, Коля! Задохнётся, не дойдёт до постели! — гогочут вразной бабы.

Мужики крепко пьют. Сидоровна несёт угощения.

— Вот вам квас, вот щи жирные, лапша с курицей! Попробуйте, гости дорогие, — приговаривает. — А это — гуси жареные. Пирог — с капустой. Ешьте, дорогие гости! Рады мы!

Особенно часто она подкладывает мамке и Паше.

— Лёня! — шепчет Валька, — а поросёнка можно есть? А что такое студень, Лёня?

— На тебе поросёнка, — Лёня отламывает кусочек белого мяса со своей тарелки, сунёт ей в рот.

Валька жуёт долго, жалеет глотать. Поросёнок вкуснее хлеба. Лёня даёт ей совсем другой кусочек — коричневый, холодный, он мгновенно тает во рту.

— Чего ты ещё хочешь? — спрашивает её тихонько Лёня.

Валька тычет пальцем в поросёнка.

Скоро ей становится весело: живот тугой, торчит.

Играет баян. Со всего Салькова народ набежал — на лугу пляшет свадьба. Бабы друг перед другом приплясывают:

*Пригнись, Митя, притулится, Митя!
Твои кудри высоки,
Подруженька видит.
Эх, эх, эх!*

— Иди, Паша, в круг, — зовут невесту.

Сидоровна обнимает мать.

— Тебе тридцать семь, мне сорок два — короткий бабий век. Уже детей женим! Вспомни, как мы выходили. Мой мужик не вернулся с Германской, не видит такой радости! — Благодарит за Пашу, предлагает взять овцу, курей — на развод. Мать краснеет, отворачивается от Сидоровны, совсем как Паша от Коли. — Бери, прошу, Устинья!

Паша стоит на крыльце доска доской, без кровиночки в лице. Коля держит её под локоть. Бабы повернуты к ним, идут полукругом, платочками помахивают, поют:

*У голубя, у сизого,
Золотая голова.
У голубоньки его —*

*Позолоченная...
Съезжались, собирались
Все товарищи его,
Диковались, любовались
На сударушку его...*

И вдруг взорвались бабы — затопали друг перед другом.

Вальке весело, горячо, она вертится от одной к другой, повторяет их движения, а потом пляшет по-своему — вприсядку. И визжит. Она старается поймать музыку. Те, что не пляшут, показывают на неё пальцем, подзадоривают её.

— Эко, смотри, какая у нас объявилась сродственница. Быстрая! — любитесь ею и Сидоровна.

— Видать, деловая будет.

— Ишь ты, огонь-девка. — И Валька старается. Лёгко ей, весело — она сейчас полетит вместе с музыкой. — Ишь, какая красивая! Бельенькая! — хвалят бабы. — Ещё давай, Валь, ещё!

Сколько угодно! Валька касается земли задом, подскакивает. Бабы смеются, утирают слёзы. Заводят грустную.

*Ты река ль, моя реченька,
Ты течёшь, не колыхнёшься.
Ты дитя ли, моё дитяtko,
Ты сидишь, не улыбнёшься.
Да чего же мне улыбаться,
У меня ль нету родна батюшки...*

К Устинье жмутся Дуська с Марусей и Нюшей.

— Мам, теперь ты пляши! — уговаривает её Валька.

*Никогда я таковою не бывала, эх!
Всю я тёмную ночь не спала:
У тесовой у кровати простояла,
Плисом-бархатом обивала.*

Мать словно идёт, и словно не идёт, подвигается по кругу медленно, только руки распахиваются широко, в правой — платочек, плечи расправились, голова откинулась.

Другие бабы тоже идут по кругу с платочками.

Баянист оборвал печальную, повёл «Барыню». Мать пошла скорее. Быстро-быстро перебирает ногами, незаметно. Получается, плывёт она по кругу, обходит всех баб. И плечами поводит, и головой покачивает.

Валька визжит:

— Моя мамка! Мамка! Лучше всех!

В Валькин визг вплетаются восторженные голоса:

— Ишь, Устька помолодела разом.

— Без мужика своего в красоту вошла! Вот как с пьяницами-то жить! Раньше времени стариться.

— Теперь что, теперь живи, радуйся, Устька! Может, выправишься, может, встанешь на ноги. А там и замуж ещё, пожалуй, вый-дешь! — Бабы хвалят мать, а Валька визжит.

Мелькает мать то в одном конце, то в другом.

Краковяк, тустеп — танец сменяет танец.

Когда без передышки с последней ноты тустепа заиграли «Да вот трубила трубонька рано на горе, плакала свет-Марьюшка по русой косе...», Устинья разом прервала танец, новый танцевать не стала. Стояла посреди круга, смотрела на Пашу.

— Иди, Паша, — зазывали бабы. — Колька не кусается, тем более во время танца. В Сальково хорошо ребят делают.

Трёхрядка вступила. Баян отдыхал.

Паша стояла на крыльце. Коля держал её под локоток.

*Вечор мою косыньку
Подружки плели...
По две, по три прядочки
Расчёсывали...*

— Смотри, сама невеста!

— Стесняется!

— Это хорошо, что скромная.

Устинья с Пашей вдвоём идут по кругу.

*Когда б имел золотые горы
Да реки полные вина... —*

орёт Валька следом за остальными. Свадьба какая весёлая!

*Всё отдал бы за ласку взора,
Чтоб мной владела ты одна...*

— Давай, Устя, покажи им! Давай, Паш, покажи себя!

— Возьми своё, Устька! Молодец, Паша! — вопят бабы.

*Последний нонешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья... —*

надрываются трёхрядка и зрители.

— Ты что, Паш, ты что? Вертайся в круг! Ты что, Паш?!

3

Пашина свадьба поменяла всю их жизнь.

На другой день Лёня объявил, что уезжает с семьёй в Москву— попытать счастья. Вера с Лёней тюки увязывают, а Устинья как села на лавку, так и просидела незнамо сколько, пока Дуська с Валькой не стали с двух сторон трясти её.

— Мам, а мам, ты чего?

— Мамка?!

Тут она точно проснулась, перед Лёней на колени бухнулась, взмолилась:

— Не бросай нас, сынок, пропадёт земля. Не поднять нам. В Москве— безработица, люди сказывали, есть нечего.

Лёня поднял мать, обнял.

— Приеду обработаю землю.— А сам в глаза не смотрит, а сам отворачивается от матери.

Тут мать подскочила к Вере.

— Заставила?! Увозишь?!— На Вальку показывает:— От дитя отца отнимаешь! Единственного мужика от сирот увозишь? Глаза бесстыжие. Лодырь! Хочешь заставить только на себя работать?!

Мать надрывается, а Лёня молчит, и Вера молчит.

Так, молчком, и уехали Лёня с Верой и Костей.

А как уехали, мать совсем ослабла. Всё сидит и сидит, повесив голову на грудь.

Сидела, сидела да повезла Нюшу с Марусей в Рогачёво— на папиросную фабрику, устроила ученицами.

И осталась Валька с Дуськой. Сядут на одном уголке все трое, пустой стол перед ними. Хлебают щи, жуют хлеб, молчат. Дуська— вредина, всегда захватит кусок побольше, из щей самую сладкую капустку выловит. Терпела Валька первое время— пугала её пустота стола, а как привыкла к ней, стала вперёд Дуськи ложку совать в чугун.

Земля без лошади и без Лёни осталась пустая. Лишь проса немного, картошки немного— столько, на сколько сил хватило. А хлеба нету вовсе. Только огород— кормилец. На огороде и Валька может работать, дёргай сорняк, трудно разве?

Устинья редко говорила с ними, всё молчком да молчком, сохлась совсем. Ходила в Семёновское на почту: вдруг Лёня письмо прислал, что задумал вернуться?! Тогда землю поднимут с кормильцем. Вон у соседей как хорошо зеленью пошло...

Из Поволжья шли голодающие. У них, в Нестерцево, не задерживались, всего-то девять домов, но мать они растревожили сильно: неужто и ей с девками по миру идти?!

Сидоровна выручала — Паша с Колей привозили от неё поклонны, а с поклонами — хлеб, курицу, муку. Мать прятала от Коли глаза, врала, что сыты, затевала печь гостям на угощение пироги с морковью из последней муки.

Скоро Сидоровна перестала посылать подарки — родился у них мальчик. Назвали Павлом.

В сумерки тяжелее всего — мать жалуется Вальке с Дуськой: в городе — безработица, голод, наверняка Лёня мучается, почему не вернуться? Земля есть, хозяйствуй. А письма Лёне не напишет, домой не позовёт. Смотрит в одну точку. Руки с чёрными жилами лежат на коленях. В сумерки слёзы близко. Кажется, дождь — обложной, со всех сторон, а потому затаилась Валька, сидит, не шевелясь, на лавке, а то забьёт её дождь, зальёт или унесёт куда-нибудь, откуда возврата нету.

Мать сидела, сидела да занедужила: ни разогнуться, ни чугуна со щами поднять, низ живота жжёт. Повели Дуська с Валькой её к фельдшеру в Семёновское, чуть не на себе волоком волокли. Попила мать лекарство, поднялась, а еды у них не прибавилось. Решила сама землю обрабатывать. Заняла у соседей лошадь. Да разве под силу одной обработать всё поле? Засеяла лишь треть. Просо и рожь посеяла. Да всё равно хлеба и проса с картошкой не хватило до весны. Из-под снега втроём выбирали сухую траву, долбили землю в огороде — может, позабылась какая картофелина? Ходила мать к соседям, стояла на коленях в сенцах, ждала для детей подавания.

Мыкалась, мыкалась да не выдержала: и Дуську отвела в Рогачёво — в няньки.

Всё одно — Вальке не прибавилось еды. Стала и Валька проситься в няньки. Мать словно не слышала. Но Валька не отступала — ей казалось, в чужом доме приготовлен ей Пашин свадебный стол, лишь стоит попасть туда!

Матери пришлось уступить — привезла она Вальку в город Дмитров. Город считался большим, на окраине его — тридцать дворов. И дома — побольше и покрасивее, чем у них в деревне. А лучше всех тот, в который привела её мать: с голубыми ободками окна, с широким крыльцом. Смело шагнула Валька в него — сейчас дадут ей поросёнка и пирог. Ни поросёнка, ни пирога не дали, но щей налили. Может, потому сразу всё и понравилось. Дом больше, чем их: две комнаты, кухня и ещё одна не то комната, не то чулан — там она спит. Рита понравилась. Толстая, щёки красные, похожа на куклу, что сидит на кровати: гуляй с ней, тискай её, корми с ложки, таскай на руках, убаюкивай!

Но очень скоро всё надоело. И стирать. И кормить — Рита ела плохо, приходилось уговаривать. Хотелось самой играть с Ритиными игрушками. А хозяйка за каждым её шагом следит. Стоит отойти от Риты, сладким голосом окликает: «Валя!». Кушать тоже не даёт досыта: Рите — мясо в щах, ей — капусту с картошкой, Рите — тефтели, ей — фигу. Мясные кушанья носили странные названия: бефстроганов, ростбифы — рецепты хозяин привозил из Москвы, где всю неделю работал.

Мудрёные имена, да вот на всю жизнь запомнила их.

Особо возненавидела тефтели, которые Рита лопала с удовольствием — чавкая. А ещё хозяин привозил Рите баранки.

Как-то Валька при важной гостье не выдержала, сказала:

— Я тоже хочу тефтелю и баранку.

Хозяйка победоносно взглянула на разряженную гостью, засмеялась «Сейчас представление увидишь» и сунула Вальке под нос горячую баранку.

— Заслужи! — Валька едва слюной не захлебнулась — такой дух шёл от баранки. — Ну, идём! — Хозяйка пошла из дома, Валька и гостя за ней. В тот день снег чуть не до окон засыпал Димитров. Трубы — близко, над ними лохматыми шапками навис дым. — Пробежишь по снегу босиком десять домов и обратно, дам, — и снова засмеялась мелким смехом. Весёлая хозяйка! Глаза у неё — как трава, зрачки — узкие.

Валька взглянула на гостью, скинула свои худые ботинки.

Она бежала, задрав голову к небу. Жёг снег, но она не обращала внимания на горящие холодом ступни, по дымным шапкам считала избы. В своей деревне быстрее всех бегала, ни один мальчишка не умел догнать её, не то что девчонки. У десятой избы развернулась, побежала обратно. Увидела розовую хозяйку в шубе и словно подняло её и понесло — перелетела она оставшиеся метры, плюхнулась около пушистых сапожек. Глокает раскрытым ртом ледяной воздух, глазами ест баранку.

А хозяйка смеётся. Не торопится отдать обещанное, смотрит на Вальку узкими зрачками.

— Молодец, шибко бегаешь. Заслужи-ила, — тянет. А сама загроживает Вальке дверь. Пришлось Вальке плясать на снегу: то одну ногу подвернёт под юбку, то другую.

Гостя же ушла в дом, со всей силы хлопнув дверью. Хозяйка сунула Вальке баранку и бросилась в дом за гостьей.

Ничего слаще Валька не ела. Смаковала каждую крошку, сосала. Таяла баранка во рту. Доела, подошла бочком к хозяйке, поцеловала её руку. «Добрая вы какая!» — сказала.

Но всё равно хозяйку боялась.

И хозяйина боялась, хотя он её и не замечал вовсе—или лежит пол дня или где-то ходит.

Снились ей чуть не каждый день овраг, по скосу которого она скатывалась во влажную осоку, в слепящие лютики и одуванчики, улица, по которой носилась, мамкины колени, травой и землёй пахнущие, в них утыкалась—реветь. Быть может, и смирилась бы Валька со своим житьём-бытьём, если бы не сидела на привязи при Рите целый день, если бы могла побегать свободно по земле хоть немного.

Однажды, когда совсем уж занеможила—всю подушку промочила слезами, навестила её мать. То ли похудела сильно, то ли платок так туго запеленал лицо, только Валька не узнала её: кожа обтянула кости, как у дяди Яши. Испугалась Валька—помрёт у неё мать, как помер дядя Яша, отдала ей свой утренний хлеб, который ещё не успела съесть.

—Я ела,—соврала матери и заплакала.—Я с тобой хочу. Возьми меня домой.—И похвасталась, как за сладкой баранкой по снегу бегала. Вот какая она сытая!

Мать отворачивалась от неё, а Валька всё старалась заглянуть ей в лицо. Не смогла, села рядом на лавку, уткнулась ей в колени, жадно вдыхая идущий от неё сладкий запах травы с землёй да печки—у их печки совсем особенный дух, аж голова от него дурманится!—и вскоре уснула.

А когда проснулась, матери уже не было, и Рита спала. Взяла Валька тряпку, стала мух отгонять.

Мухи, въедливый голос хозяйки, красные от стирки руки, тефтели, распухшее тихое нутро, копящее в себе слёзы...—растянулась зима, растянулась её работа в няньках—в тёмное время жизни.

Всё-таки наступил день, что прогнал зиму. В этот день мать пришла за ней. Стояла ждала, когда она простится, а ей стало жалко расставаться с Ритой. Та уже говорила, бегала косолапа за Валькой, цепляясь за подол. Увидела—Валька связывает в узелок платье с кофтой, заревела, ухватилась за её шею обеими руками, не пускает. Как кукла, красивая Рита—беленькая, розовая, пухленькая, а у Вальки никогда не было кукол. Валька тоже заплакала.

—Может, ещё на годок оставишь?—неожиданно сказала хозяйка.—Я вот ей ситчику подарю!—сунула в материны руки свёрток.—Валь, послушай, я же тебя кормила! Я тебе баранку давала! У вас нечего есть! Оставайся!

Мать сверкнула на хозяйку злым глазом.

—Не-ет. Сыты вашими заботами. Сыты вашей баранкой. Пойдём, дочка, нам пора, до полудня надо успеть пойти.

Вышла на улицу и увидела солнце. Оказывается, уже лето. Цветёт картошка, завязались яблоки, выбросили робкие стебли рожь и про-со — урожай обещает быть хорошим.

А дома был Лёня. В кепке, в новой, кипенно-белой косоворотке, незнакомый. Валька осталась у двери, набычилась. Он подошёл к ней сам, поднял, прижал к себе. И снова она заревела, сама не зная, отчего. Такой день слёзный вышел. Но слёзы случились сладкие — вымыли из неё все обиды.

Поставил её Лёня на землю, склонился к ней, стал гладить по голове. Гладил её не переставая, она всё редела.

— Ты чего, не узнала? Это мать скрыла, что тебя отдали в люди. Я с восьми лет работал. И ты. Ребёнком не побыла. Земля есть, хлеб будет, картошка будет. В школу пойдёшь. Выучишься, вырастешь, возьму в Москву. Ну вот, развела сырость. Ох, дурак, совсем забыл, я ж тебе гостинец привёз!

Валька сразу поняла: на протянутой к ней Лёниной ладони лежат конфеты. Все три штуки — в бумажках, такие Рите привозил хозяин. Разглядывала их, не решаясь взять.

— Не сомневайся, бери, вкусные! — сказал Лёня.

Дома была и Дуська. Краснощёкая, тугая, весёлая.

— Мам, а мам, смотри, какие ленты мне подарили! Мам, смотри, какой полушалок! — Дуська сидит над своим мешком, подарки перебирает.

Валькино счастье долго не кончалось, несколько дней, пока Лёня был с ней. Лёня курил с мужчинами, она стояла рядом, прижавшись к его боку. Шла вместе с ним по воду, полола картошку. Лёня поднимал завалившийся забор, она подавала ему гвозди. Оказывается, приезжает он второй раз. Это он вспахал их поле — у соседей занимал лошадь.

Все вечера Лёня с матерью и Дуськой говорили. Валька, замерев, слушала. Узнала, что Маруся вышла замуж, а Нюша собирается. Приехать ни одна не может. Маруся уезжает с мужем на север. Нюшу муж собирается увозить в Сибирь.

— Отрезанные ломти, — сказала мать про них. Валька не поняла, что это значит. Поняла только, что мать довольна — пристроены дочки. — Серп в руки им уже не сунешь, — сказала мать. И снова Валька не поняла: при чём тут серп.

Дуська хвасталась, как ей повезло — была заместо дочери. Хоть и приходилось нянчиться с детьми, а одели как свою, кормили на убой, в школу поместили. Дуська сильно довольна, книги стала читать. Мать слушала Дуську, плакала, Валька не понимала: жалеет мать Дуську, что рано в работу пошла, или радуется за неё.

Но больше всего Вальке нравилось слушать Лёню. Сначала плохо жили. Не сразу сумел устроиться на работу. А теперь рабочим на заводе стал, зарплату хорошую дали и комнату, жить можно. Город Москва — большой, трамваи по рельсам ходят, машины ездят. Вальке нравилось, как Лёня говорит: складно, городскими словами. Повезло, значит, Лёне в Москве. И мать, словно угадала, о чём Валька подумала, сказала:

— Новая власть, видишь, думает о нашем животе, хочет бедняка накормить. При своей земле теперь от нас всё зависит. Вот, девки, если любите хлебушек, гните спину.

Девки любили хлебушек, соглашались гнуть спину. А когда собрали урожай, ахнули. Картошки, проса и ржи можно половину продать и всю зиму будут сыты. Не подвела земля!

И продали.

Зажав деньги в руке, возбуждённые, ходят по рынку, разглядывают лошадей. И гнедые, и рыжие, и палевые — разных мастей, разных возрастов, разных характеров лошади. Ржут, бьют копытами о землю, нетерпеливо перебирают ногами.

— Вот эту! — Валька заворожённо уставилась в темно-коричневый глаз огненной лошади. На таком коне жених вёз Пашу в свой дом. Может, это тот самый? Лошадь смотрит на Вальку ласково, словно просит взять её. Валька протягивает ей кусок лепёшки. Мягкие горячие губы касаются Валькиной руки. — Мама! Бери! — умоляет Валька.

Но тощий мужичонка, беззубый и остроносенький, равнодушно оглядел их с ног до головы и запросил столько, сколько у них не было и быть не могло. Валька плакала навзрыд и даже карамелевый петух на палочке не утешил.

Всё-таки лошадь они купили. Особой красотой она не отличалась, но и неплохая вовсе: серая, в яблоках, высокая, с крепкими ногами.

— Будет работать, — сказала мать, взяв её за повод. — Пять лет — самый возраст. Жеребёночка нам принесёт.

Весь путь из Рогачёва Валька прошла рядом с лошадей, заглядывала ей в лицо, говорила с ней:

— Ты нам будешь помогать. Ты будешь нас кормить. Ты будешь нас возить. Выйдем с тобой на зорьке. Вот, мама, назовём её Зорькой! — Валька гладила её морду, а лошадь крутила головой.

Дома мать прежде всего напоила Зорьку и насыпала ей торбу овса. Только после этого принялась вздывать самовар.

Пили чай долго. Ели пряники. Мать улыбалась. Много лет Валька не видела, чтобы мать улыбалась. Даже на Пашиной свадьбе не улыбалась. Что уж говорить о голодных годах...

— Теперь поживём: сыты будем! — сказала мать.

Дуська — хитрая, увидев, что мать улыбается, принялась выпрашивать снова отпустить её в няньки.

Поздней осенью, когда посеяли рожь, перепахали землю, мать жалилась над Дуськой.

Пришла зима. Серая, ледяная. Без снега. Мороз доставал до костей, стоило высунуть нос из избы. А из избы выходить приходилось: кормить Зорьку, кур, носить воду. Да ещё в школу нужно было ходить. Новая власть хотела, чтобы простой человек учился.

Чудно показалось Вальке в школе. Сиди сиднем на одном месте много часов, карандашом ставь на бумагу палочки, рисуй кружочки. «А теперь будем учиться читать. И вам откроется интересная жизнь», — обещает им учитель. Он кажется Вальке чудным: в какой-то кофте свободной, борода, как у попа, волосы — длинные, как у попа. Подходит к каждому и спрашивает: «Ну-ка, скажи, что за буквы на доске?» Все говорят: «ма». И Валька повторяет «ма», «ку», но понять, чего хочет от них учитель, не может. И, сколько ни пытается, буквы вместе не соединяются. День идёт за днём. Пальцы не хотят держать карандаш, голова не понимает учителя — мудрёные слова о смысле жизни да о служении советам говорит он.

Может, потому плохо понимала, чему учит их учитель, что часто пропускала занятия. Дусины валенки скоро оказались ей малы, да шубы нет, если не дадут соседи. А потому сиди дома. Хоть и недалеко Семёновское, а голая и босая не дойдёшь. У соседей куча своих детей, которым надо учиться. А ещё допоздна они с матерью пряли да ткали холсты из конопли. Уроки делать не успевала. Как смотреть в глаза учителю? Вот и получается: то соседи валенок не дали, то уроки не сделала, то затеяли с матерью рубашки с полотенцами да юбки шить. А то и без всякой причины стала она отлынивать от школы. За любую работу хваталась — конюшню убирать, стирать, и любая работа спорилась в её руках.

Мать не очень горевала, что Валька задержалась при доме. Как раз в ту зиму пришёл из Димитрова вёрткий человечек с чёрными, как уголь, бровями, предложил работу: делать зубные щётки. Вывалил на их стол две кучи сырья. «Ваше дело — вставить щетину в костяные ручки. — Стал показывать, как это делается. — Пальцы исколете, зато заработаете! Через месяц щётки заберу, а вам ещё костей и щетины принесу, на много зим обеспечу заработком, только работайте прилежно».

Щётки делать понравилось. Вот когда не стало Вальке покоя. Проснётся ни свет ни заря, толкает мать:

— Мам, вставай!

— Ну, оглашённая! Куда спешить? — Ворчит, а сама уже встаёт, уже трогает полешко, суёт в печь растопку.

Валька же запихивает угли в самовар. Затопят печь, поставят самовар, мурцовку* сделают или просто нарежут хлеба и сядут друг против друга. Дрожит язычок керосиновой лампы. Дымится картошка в мундире. На столе — равные куски хлеба. Они пьют чай. А напьются, уберут стаканы, подъедят все крошки, до одной, достают железные крючки — тянут ими через кость щетину. Крючок не слушается, щетина впивается в пальцы. Капает кровь. А делать нужно по двадцать щёток в день! Не сразу стало получаться столько, сколько требуется.

С того, двадцать пятого года, зарабатывала Валька деньги. С того года искололись и распухли её пальцы.

К весне Зорька ожеребилась. Что тут с Валькой сделалось! Точно у неё сестра или дочка народилась. Тайком от матери наберёт отборного овса, подносит Ласточке на ладони. А когда Ласточка наестся, обхватит её за шею, как Риту когда-то, целует, рассказывает ей про травку — мол, скоро вылезет, про солнышко и про птичек. На отборном овсе, в ласке да со сказками росла Ласточка. Единственная Валькина подруга.

Интересными событиями жизнь не баловала. Нюша да Маруся напишут, как живут: зарабатывают хорошо, Маруся ребёночка ждёт, а Нюша в передовые вырвалась. Паша раз в году заглянет: пошмыгает носом, наговорит с три короба про своё счастливое хозяйство, про своего ненаглядного мужа, про своего ненаглядного сыночка, про свою ненаглядную свекровь, расхвалит своё житьё-бытьё и снова уедет — работать. Лёня привезёт из Москвы колбасы и конфет, погостует несколько дней, соберёт торбы с едой и снова — в Москву. Дуська на весну да на осень прибудет, наработается досыта и скорее — к своим детям, трое погодков у неё!

Вот и все радости. А Ласточка всегда тут, при Вальке. Особенно летом. Овёс ли Валька полет, полынь ли и чернобыл вырывает с корнем, подсолнухи ли окучивает, рожь ли серпом жнёт да складывает в копны, молотит ли, веет ли рожь и засыпает в закрома — Ласточка при ней. Валька растёт, и Ласточка растёт. А зимой — тяжело. Валька — в избе, Ласточка — в стойле. Одна без другой скучают. Была бы Валькина воля, она бы свою Ласточку и спать рядом с собой положила! Знала Ласточка время, когда Валька к ней должна прийти.

* Суп: лук зелёный или репчатый, вода колодезная или квас, хлеб ржаной, бородинский или сухари, сол, масло конопляное или подсолнечное не рафинированное, перец.

При встрече норовила коснуться щеки горячими мягкими губами. А если задержится где Валька, ржала тихо, жалобно!

Ещё только ноябрь на дворе, а Валька уже о весне мечтает.

— Мам, а скоро лето придёт? — перебивает материн рассказ о старине. — Я поведу Ласточку есть зелёную травку.

Мать словно не слышит, руки её быстро орудуют крючком и щетиной, сама продолжает говорить:

— Кулачные бои — страшное дело. Стенка на стенку идут друг к другу навстречу. Твой дед — самый сильный был в двух деревнях, богатырь.

Деды, прадеды, праздники, обычаи... — немудрёная грамота её родины. Корни её. Она сама.

Любила мать поучать:

— Учись, Валька, понимать себя. И работай, Валька, свою работу. Не жалей себя. Коли пальцы. Заработаешь деньги, купишь одежду, мануфактуру, сахару, пряников. А играть потом будешь, когда из нужды вылезем.

Зима тянется долго.

Особенно тяжела зима двадцать восьмого года. Бессолнечная, точно густые сумерки. Днём садились под самое окно, а всё равно темно! Если поначалу в охотку работалось, то через месяц опухшие пальцы еле удерживали крючок и щетину.

— Ма, скоро весна придёт?

— Ма, скоро я на Ласточке поеду?

— Ма, скоро Дуська вернётся?

Мать на её вопросы не отвечает, ровным голосом ведёт свою нескончаемую «песню» о том, как раньше люди жили, при царе: какие у богачей были усадьбы с прудами и лесами, как бедняк у богача целый день работал, как за спасением к Господу-Богу кидался, как ей барыня шаль подарила.

Разговоры отвлекали, а всё равно неотвязно в башке — скорее бы весна! Тогда забросит постылые щётки, под солнышко побежит вместе с Ласточкой.

Долго ждала в тот год весну. И дождалась. Весна пришла.

Золотыми проплешинами засветила взгорки, подчернила снег. Как только снег сойдёт, Дуся вернётся. Мать решила оставить её дома насовсем. Хозяйство расширяется. Может, Дуся здесь выйдет замуж, мужика в дом приведёт?!

Соскучилась Валька о Дусе, сил нет как соскучилась! А тут мать и велела съездить к ней, сказать, чтобы готовилась: скоро, мол, домой: сеять пшеницу, картошку сажать. Затеяла мать испечь для Дуси пирожков с капустой. В нетерпении крутилась Валька вокруг

неё, подгоняла — очень хотелось скорее очутиться в телеге. Уговорила Валька мать запрячь Ласточку.

Запрягли Ласточку в первый раз. Праздник сегодня у Вальки — к Дусе едет, да ещё на Ласточке. Сначала вроде ничего — пошла Ласточка споро. И вдруг навстречу что-то на больших колёсах: тархтит изо всех сил. Не то что Ласточка, и Валька от страха зажмурилась, рот открыла — никогда не видела такое! А Ласточка закинула голову и кинулась в лес. Упереться бы Вальке покрепче, натянуть бы покрепче вожжи, а она их отпустила. Тут же сорвало её с телеги, вожжой перехватило ляжку. И волокла обезумевшая Ласточка вместе с громыхающей телегой свою Вальку по рытвинам незнамо сколько. Гортанным голосом кричала Ласточка, но Валька её уже не слышала. Кружила Ласточка, кружила, выбилась из сил и, взмыленная, вернулась, наконец, на собственный двор.

Долго Валька была без сознания. Вожжа прорезала мясо до кости, корни с землёй и мелкие камни содрали с Валькиной спины платишко и кожу, не спина — кровавое месиво, голова — в крови, в траве и земле.

Летом Ласточку украли цыгане.

Детство с отрочеством осталось горячими проталинами в весеннем снегу, Зорькой и Ласточкой, редкими школьными уроками, на которых ничегошеньки она не понимала, едва-едва научилась разбирать слова да складывать числа. День за днём сплетались в жизнь, в которой — много леса, простора и много работы — от света до темна, и короткие ночи, когда невозможно успеть выспаться.

Оборвалось детство с отрочеством внезапно.

4

Дуся из няnek вернулась невестой. Теперь, как когда-то за Лёней, всюду таскалась Валька за ней. Только бы уследить, когда Дуся на «серёдку» пойдёт. Что бы ни делала Валька, всё побросает, сиганёт следом. Да там к Дусе не подойти. Стоит с такими же, как она, девушками — голова к голове. Её Дуся лучше всех. Высокая, румяная, а главное у неё — косы, короной вокруг головы. Важные все стоят, как взрослые, разговор ведут. Кажется, только об этом разговоре и думают, а сами исподтишка поглядывают в проулок, по которому из Семёновского должны подойти парни с гармошкой. Валька готова услужить сестре: бежит по проулку, между домами, выскакивает в поле. Отсюда хорошо видать Семёновское. На горушке — село, солнцем облитое. Видно-то его видно, да не так просто оттуда дойти. Овраг, поле, лесок... Валька — глаза

стоя. Далеко ещё парни, а она их сразу углядит и скорее мчится назад.

— Дусь, идут!

Куда девалась степенность девушек? Они краснеют, начинают хихикать, прихорашиваться, быстро-быстро, неразборчиво о чём-то перешёптываются. Но через несколько минут снова степенны — садятся рядком на лавку, точно им никакого дела до парней нет, достают семечки, лузгают, ведут замедленный, вроде важный для них разговор.

Наконец с гармошкой, с шутками-прибаутками, в начищенных сапогах, появляются парни. Остановятся в сторонке от девушек, словно их тоже вовсе девушки не интересуют, курят, громко рассказывают какие-то истории, из которых девушкам ничего не понять, громко смеются. И вдруг всё в одно мгновение повернётся. Не заметишь, как, а парни и девушки — в одном круге — ведут хоровод.

Валька не дышит, Валька сидит на брёвнышке, упершись в него ладонями, подалась вперёд, смотрит на Серёжу. В хоровод её всё равно не возьмут, а смотреть на Серёжу не запретят.

Серёжа обязательно рядом с её Дусей. Он не из Семёновского, из Салькова, Пашин сосед. А из-за Дуси чуть не каждый день вышагивает тринадцать вёрст — туда и обратно.

Красивее всех Серёжа. Высокий, выше Дуси, светловолосый, в богатой, расшитой рубашке и городских брюках, в хромовых сапогах. Не может Валька не смотреть на него. Вот он наклонился к Дусе, что-то сказал, вот засмеялся, вот закинул голову. Так бы и глядела на него, без счёту, без времени.

Скоро у Серёжи с Дусей свадьба. У Дуси платьев много — за работу надарили, юбок много — мать нашила. Полотенец, простынь там всяких за три года они с матерью Дусе наготовили. Дома Дуся сама не своя: то захохочет ни с того ни с сего, то заревёт, то примется стирать на всех, то с места не двинется, чтобы каганец зажечь. Про Серёжу начнёт Вальке рассказывать, какой он самостоятельный, какой обходительный, замолчит на полуслове. Не мигает, уставится на гвоздь в стенке, точно этот гвоздь самая что ни на есть красивая картинка.

Серёжа хочет переехать в Москву. Как только поженятся они, так и поедут. На завод станут устраиваться.

Что тогда Валька будет делать? Как будет жить без Дуси с Серёжей? На кого ей тогда смотреть?

Глаза у Серёжи — синие, волосы — курчавые. Такого, как он, она видела только на картинке — в Ритиной книжке Серёжа был нарисован. И в ней Серёжа — царевич!

Вечер за вечером сидит Валька на брёвнышке, пока мать не погонит её спать.

— А Дуська? — каждый раз обижается Валька.

И каждый раз мать отвечает одно и то же:

— Что «Дуська»? Последнее лето гуляет, пусть себе.

Засыпает Валька — Серёжа в глазах остаётся: кучерявый, сине-глазый. С ним в глазах и просыпается.

А ещё она жалеет о скорой свадьбе потому, что перестанет Серёжа приносить ей гостинцы. Сейчас то пряником угостит, то конфетой. Один сын у матери, а мать — богатая, ничего ей не жаль для него. Конечно, главные сладости достаются сестре. Но и Валька успевает поживиться. Это на улице она для сестры старается, дома же Дуська есть Дуська. Ленивая, любит поспать лишние минутки, а Валька, наоборот, поднимается раньше всех. Вскочит и скорее к кульку, который Серёжа принёс накануне сестре. Выхватит пряник, засунет в рот. Один съест, второй, Дуська точно почувствует это: продерёт глаза.

— Опять всё сожрала, чёртова воровка! — закричит в исступлении. Соскочит с кровати и — бежать за Валькой.

А та уже сыта, скорее на улицу! Никто не угонится за ней, тем более Дуська. Бежит и хохочет во всю глотку:

— Вку-усные пряники!

Но, если не успеет сбежать, тут и драка. Друг другу спуска не дают — обе почти одного роста, обе — крепкие, так и рвут друг у друга волосы. Да обзываются.

— Дурочка из переулочка! — вопит Валька.

— Воровка! — вопит Дуся.

А ещё дрались из-за пола.

Возьмётся Дуся мыть пол. Середину намочит и вытрет, а под кровать, за сундук, в углы даже не заглянет. Теперь уже Валькина правда. Валька долго терпит: руки своё дело знают, орудуя крючком, а глаза следят — может, Дуська одумается да вымоет в углах? Но та разогнулась да и пошла из горницы с тряпкой. Тут-то Валька перестаёт терпеть, вступает:

— Протри под столом, — говорит миролюбиво, по-хорошему. — Смотри, у порога сыро, не видишь? Подбери воду.

— Раскомандовалась! — начинает Дуська орать. — Если ты такая умная, сама подбери! — Швырнёт тряпку в сенцы, одёрнет юбку да к двери, чтоб на улицу бежать.

А Валька тут как тут: путь преграждает. Подхватит Дуся мокрую тряпку и давай Вальку охаживать. Так раздерутся, что потом друг друга узнать не могут: обе грязные, расцарапанные. Но всё это пустое. Дуся упрямая, сказала — не будет домывать, и точка. А Валька не может успокоиться. Налёт в ведро чистой воды, выстирает тряп-

ку, каждую пылинку по углам соберёт. Валька—в мать, любит чистоту. Вернётся мать с дровами или с риги, где молотят рожь, а пол сияет желтизной.

Однажды ночью проснулась Валька от Дусиного плача.

—Сегодня мы гуляли в Сальково, слышь? Споймала меня его мать, давай уговаривать: «Один он у меня, Дусенька, разъединый. Хозяин. Отпусти его душу! Жениться ему рано. Как женится, в тот же час укатит от меня в Москву, его слово твёрдое. Как останусь одна, без него? Отступись, Дусенька, я что захочешь тебе подарю!»—Дуська захлёбывалась, а Валька одно понимает: никуда теперь Серёжа не уедет, будет она его видеть! Прижала обе руки к груди, сердце: бух, бух!

Мать успокаивает Дусю, а та всё ревёт.

Стала вечерами Дуся дома сидеть. Даже на порожек и то не выйдет. Щётку столько повиработала, сколько и за год не сделаешь! А как стемнеет—плакать.

Прошло несколько дней, ни слуху, ни духу от Серёжи. Наверняка, мать услала его на ярмарку. На пятый день Дуськина подружка принесла на хвосте весть: Серёжу в городе обворовали жулики, Серёжа сильно разозлился, даже самодельный револьвер купил—защищаться, если на обратном пути на него нападут. Но никто ему в дороге не встретился, вернулся Серёжа домой благополучно. И в тот же вечер объявился у них. Вошёл запыхавшийся, с гостинцами. Дуське—узелок, Вальке—большой пряник.

—Пойдём, Дусь, погуляем, —предложил.

—Не, —замотала Дуся головой. —Отгулялась.

—Ты что, заболела? —спрашивает заботливо. Дуся мотает головой. —Или, может, новый жених тут объявился, пока я дела делал? —повернулся Серёжа к матери. Побледнел сильно. —Что молчишь, тётя Устя?

—Не пойдёт она за тебя! —влезла Валька. —Не хочет. Её... —Тут мать хлопнула Вальку по рту, погнала из избы.

На другой день Серёжа опять пришёл. Хмурый.

—Выйдем, Дусь, поговорим.

Никак не могла Валька уснуть в тот вечер. Во рту—вкус пряника, в глазах—Серёжино лицо. Час прошёл, два, наконец провалилась в сон. И приснился голос, зовущий её мать: «Тётка Устинья, тётка Устинья, твою Дуську Серёжа Сальковский убил». Никак не может Валька отделаться от этого голоса. Серёжа Дуську убил? Какой страшный сон! Уж и глаза открыла, и на холодный пол ступила босыми ногами, уже во двор выскочила, а сон не проходит. Кричат бабы: «Дуську Устиньину Серёжка Федотов убил!». На крыльце ле-

жит в Дусином пальто и платке кто-то, в крови лицо. Крутит Валька головой, выгоняет сон, а кровь блестит, качается керосиновая лампа в чьих-то руках, всё ближе к лицу лежащей, ближе...

— Взад и вперёд ходили по улице. Я ещё подумал, чего это всю ночь ходят, рази завтра им в поле не идтить? А мне-то, думаю, хорошо, что они ходят, значит, вор не полезет в сад, углядят они, думаю, молодые-то, вора-то, охочего до яблок. И пошёл спать. Мало ли какой, думаю, у них получается серьёзный разговор. Дело молодое, всё нужно обсудить наперёд. Уснул, а тут выстрел. Решил: Серёжка пугнул вора-то! Поблагодарил в душе Серёжку и уснул снова. А через час будят меня. Оказывается, это Серёжка Дуську убил.

Мать лежала на полу, под божницей, где когда-то, по рассказам, лежал мёртвый отец, и никто не мог заставить её подняться. Бабы выли в унисон с собаками. В чёрной толпе Валька пыталась увидеть Серёжу. Зачем он такое натворил? Что с ним теперь сделают? Серёжи нигде не было. На крыльцо никого не пускали, ждали милиционера. В избу шли со двора. Валька давила себе грудь, в которой так болело, что повернуться, слово сказать, даже вздохнуть не могла.

Как доехала до Рогачёва, как очутилась в деревянном доме, где суд находился, не помнит. Помнит только Серёжу. На себя не похож: худющий, губы чёрные, под глазами чернота, глаза тусклые, рот pokrивил лицо в гримасу. Только волосы, как и раньше, кучерявятся. Заговорил, а слышать его плохо, голос тих да рвётся. Валька пристала, ловит каждое слово:

— Промеж нас всё было договорено. И вдруг Дуся... отказывает. Пытал я, почему. Молчит. Вдруг заревела. Тут я догадался: наверно, моя мать встряла. Она и раньше твердила: «Не пушу в Москву и жениться не дам». Дусе не сказал, что догадался, стал рассказывать, как на ярмарке товар продавал... какие видел бусы да серьги. Дуся успокоилась. Я обрадовался. Говорю: «Повенчаемся, и сразу в Москву, поступим на завод, там платят хорошо, получим комнату, заживём». Сели мы на крыльцо. Обнял её... прижал к себе... она снова — реветь, а сама положила мне на плечо голову. Значит, так и есть, любит меня по-прежнему. Это мать влезла. Уж как я Дусю успокаивал! Про то, что надо скорее играть свадьбу, говорил, про то, что родим сына, говорил, про то, что люблю её. Вроде развеселил... она даже улыбнулась. И вдруг говорит: «Покажи револьвер, что на ярмарке купил». Я ей не говорил ни про какой револьвер. Но вижу, не гонит она меня, обрадовался и сразу достал. — Серёжа замолчал. Приложил руки к глазам, долго стоял так. И все молчали. Валька смотрела на Серёжу, ждала, что ещё скажет. Он отнял руки от лица, заговорил еле слышно: — Стала Дуся вертеть его, не успел я охнуть, как он сам выстрелил. Звал я Дусю, звал, трогал, она ле-

жит молчит. Кровь... Побежал к себе в деревню, разбудил двоюродную сестру. «Даша, говорю, пистолет убил мою Дусю, пойди скажи». Больше ничего не знаю, потерял память. Вот и всё.

На суде Валька была такая же замороженная, как в ночь смерти Дуси. Только обеими руками давила себе грудь — сердце у неё болело: бух, бух. А когда обвинили Серёжу сразу в двух преступлениях — в убийстве человека и в ношении незаконного оружия, когда присудили Серёже пять лет тюрьмы, сорвалась с места, как к судьям бежала, не помнит.

— За что?! Не виноват он, не виноват! Не убивал! Дуся сама. Не убивал, — кричала истошно. Бросилась перед судьями на колени. — Освободите.

Мать ухватила её за руку, поволокла прочь. Валька упиралась, оглядывалась на Серёжу, запоминала — чёрные губы, белые глаза, волосы — курчавые.

За другую руку тащил её Лёня, а она вырывалась.

— Не виноват он! — кричала судьям. — Не виноват он!

Глава вторая

1

По-прежнему встаёт она со светом, как все в деревне. Выпив воды, пожевав хлеба, вместе с матерью отправляется в поле. Работа сменяет работу: пашет Валька, сеет овёс с просом, картошку сажает... боронует, полет, жнёт, косит, всем телом помогая косе, серпу, граблям, вилам, сено таскает, навоз сушит, бельё вальком бьёт... — в голове одно: жив Серёжа, сыт Серёжа, когда вернётся Серёжа? Работа тяжёлая — через двадцать минут после начала намокают подмышки, руки-ноги ломит, но совершается работа помимо Вальки, потому что главное в ней теперь — терпение: ждать Серёжу, и это ожидание составляет суть её жизни. Дошли до деревни слухи: работает Серёжа в болотах. А что делает там, никто не знает.

День свивался с ночью, ночь с днём — время несло Вальку к часу, когда терпение упало на стерню колосьями. Откинула серп, потуже перевязала волосы, решила — пошла к Серёжиной матери. То стерня колет ноги, то мучит ноги щёбёнка, то впиваются в ступни шишки — под ноги она не смотрит, перед ней — Серёжа, каким был на суде: глаза запали, чёрный Серёжа, только волосы — светлые, как раньше. Валька торопит себя, боится заботиться Серёжиной матери да повернуть обратно. Сальково тоже на взгорке, как и Семёновское, манит к себе солнечными окнами, блестящими флюгерами.



ТАТЬЯНА УСПЕНСКАЯ (ОШАНИНА) — писатель, педагог и редактор — родилась в 1937 г. в семье биолога и писателя Елены Успенской (внучки писателя Глеба Успенского) и поэта Льва Ошанина.

Окончила Московский университет. Много лет преподавала литературу, из которых десять лет (1962–1972) работы в знаменитой Московской физико-математической школе № 2 она считает лучшими годами в ее жизни. Это была школа абсолютной внутренней свободы, воспитывающая человека, свободного от партийных догм и зависимости от власти; школа, дарившая способность анализировать, раскрывавшая творческие способности, формировавшая яркую, самобытную личность. И самое главное — это была школа со своим кодексом чести и нравственности.

После разгрома школы в 1971 году работала редактором в издательстве «Современник». Переводила книги с подстрочника. Публиковалась как критик в журнале «Нева». Написала тридцать романов и повестей в числе которых «Шаман» и «Я вышла замуж в Америку». Большинство ее книг были изданы в Москве издательствами «Советский писатель», «Молодая гвардия», АСТ и др. Весной 1990 года была приглашена в Пенсильванский университет читать лекции об А. С. Пушкине и современной русской литературе.

В настоящее время живёт с семьей в Коннектикуте, США.

Предлагаемый вниманию читателей роман Татьяны Успенской (Ошаниной) — это захватывающая трагическая эпопея о трёх поколениях людей, способных вынести любые страшные испытания, но зачастую не способных осознать смысла и целей своего личного существования. Ненавязчивым, но определяющим фоном показана в романе Власть, представляющая страну, в которой никто никогда не думает о маленьком человеке, погружая его в холод, голод, не кончающийся бессловесный труд, выдавливая из него все человеческие чувства, уничтожает самых чистых и порядочных людей. И вращается жуткий замкнутый круг истории: пьянство, рабская психология, вспышки бунта и снова — пропасть... это Россия!

Можно ли стать свободным человеком, независимым от власти, от обстоятельств, от чужой воли? Можно ли изменить свою жизнь, переломить судьбу? Вот вечные «русские» вопросы, на которые так трудно ответить...



ISBN 978-1-960533-48-7



9 781960 533487